

ПОСЛЕДНИЙ КНЯЗЬ, или Судьба песчинки на ветру

(Беседы с Леонидом Оболенским)

Форма диалога, преобладающая в этом очерке, – следствие бесед автора с Леонидом Оболенским, которые велись на протяжении многих лет.

Передо мной необозримое поле столетия, в котором прожил и живёт мой герой. У меня – никаких документов, лишь крохотная, на полстранички, пожелтевшая бумажка. На ней дюжина строчек: названия кинолент. Это – всё творческое наследие. С первых выстрелов гражданской войны до вчерашних трассирующих залпов августовского путча. От Октябрьского триумфа большевиков до безнадежного краха тотальной идеологии.

Он сидит в продавленном, обшарпанном кресле, положив уже неходячие ноги на облупленную табуретку. Очки на латунной цепочке поминутно водружаются на породистый хрящеватый нос, прежде чем прозвучит цитата из Монтеня или Эйзенштейна. За окном – зелёные горы Урала, поросшие столетними соснами с медно-красными стволами. За окном – его деревня, родная и немилостивая земля, за которую он сражался, которая его отнюдь не ласкала, но которую он всю жизнь жалел и пылливо исследовал, пытаясь понять её беды и трагедии.

В нём нет ни печали, ни грусти. «Эх, Лёнька, Лёнька, – говорит он ворчливо сам себе, – куда ты опять, дурак, задевал свой дневник...». И он ищет, не сдвигаясь с места, вокруг, по столикам, по полкам среди вороха бумаг свои заметки. Очередные, сотые по счёту, ибо предыдущие безнадежно потеряны. То где-то на Севере, в Полярном крае. То где-то на Западе, в Эльзасе. А то где-то в монастырских стенах за Днестром...

– Давай лучше я тебе почитаю вчерашние мысли свои. Я открыл для себя, что классики всё начисто спёрли у старика Аристотеля. Это он открыл, что самый важный на земле человек – земледелец, источник всех благ и товаров. Правитель должен думать о том, как облегчить именно ему жизнь. Все остальные – воины, ремесленники, купцы – только пользуются его трудами. Все они – прилипалы и прихлебатели, главное – земледелец. Понял, дружище?..

Я слушаю вдохновенные строки античного мыслителя и думаю: нет, моему деду не страшны десятилетия, ему только-только начали открываться сокровенные мудрости человечества.

– Леонидыч, – говорю я, – а ведь не зря Аристотеля не смогли отменить даже первосвященники христианства. Случайно ли это?

– Нет, не случайно, – оживляется он. – Даже они признали его – язычника и идолопоклонника. Такие титаны переживают тысячелетия...

Я смотрю на него – сухопарого, длинного. С ореолом седых остатков волос над яйцеобразным пожелтелым черепом с крапинками коричневых старческих пятен. Милый ребячливый старик. Как рассказать о тебе – великом путанике и скитальце, диссиденте и вечно подозреваемом интеллектуале, прожившем в стране большевиков такую немисливо долгую жизнь...

И я решаюсь это сделать только потому, что треть жизни твоей прошла на моих глазах. Прошли переживания, взлёты, падения, неприязнь, которые были не худшими в твоей судьбе, не самыми страшными, но они были на моих глазах. И по ним, как по косточкам древнего ящера, я могу восстановить весь скелет, всё живое тело этой удивительной, парадоксальной, поучительной жизни, полной противоречий и горечи, уроков, усвоенных и забытых им самим. Из старых записей своих, из обрывков бесед и чужих суждений я попытаюсь сложить пёструю мозаику необыкновенной судьбы невеликого, негениального, но предельно искреннего старшего современника своего, подарившего мне в юные годы обжигающую правду о Родине, такую, какой она открывалась лишь десятилетия спустя миллионам и миллионам сограждан моих...

И пусть эти робкие трепетные страницы будут ещё одним штрихом в летописи драматической судьбы всей нашей многострадальной Родины, ныне переживающей огнепальную духовную революцию. Революцию, которую выстрадал и мой герой, ибо не случайно он первым из россиян получил ослепительный титул «Народного артиста России» Указом первого народного Президента России. В этом символический смысл...

ПРЕДКИ

Давным-давно на мой вопрос о происхождении фамилии своей Леонидыч рассказал удивительную историю:

– Был у Ивана Грозного любимый опричник Ванька Телепень. Служил ему верою-правдою, охранял его, не смыкая глаз. Дремал у его ног или ублажал его в бессонные ночи байками и былинами, которых знал по своему северному роду неистощимое число. Жён у царя было много, а Ванька Телепень был один, с малых лет верный слуга и сотоварищ.

Когда бояре предали царя и на жизнь его покусились, ушёл царь с верными людьми в Александровскую слободу и там отсиживался, пока народ не умолил его принять царство без Боярской думы. Стал тогда Иван на деле самодержцем и одарил своих чад землями да угодами за их службу верную и непорочную. Любимому Ваньке Телепню дал он тогда немеренные земли между новооткрытыми реками Обью и Леной, и получил Ванька княжеский чин «Оболенский».

– Стало быть, – спросил я, – и ваши предки были княжеского рода?

– Увы, увы, – рассмеялся Оболенский, – прадед мой был лишён дворянского звания матушкой Екатериной за грубости, столь свойственные нашему горячему роду. Так что были мы мелкопоместными, разорёнными и служилыми – не чета родовитым Оболенским. Когда был я в Германии в 30-х годах, меня молоденькие княжны к своему князю-батюшке пригласили. Так его сиятельство не изволил выйти, справедливо выяснив, что таким, как я, водку на подносе с заднего двора выносить надобно...

– А кем же всё-таки стал ваш дед?

– Леонид Егорович Оболенский в молодости переменял множество профессий, даже мыл золото на севере. Но страсть к творческому делу была превыше всего. Он продал крохотное своё владение и стал после реформы 60-х годов издавать журнал «Русское богатство». В нём печатался Лев Толстой с сакраментальным романом «Воскресение», за который автор был отлучён от церкви, а дед даже отсидел некий срок в камере предварительного заключения.

– Но известно, что редактором журнала был не кто иной, как Владимир Короленко?

– Короленко действительно был редактором. А владельцем сего частного – учтите, частного! – журнала был именно мой дед. Если уж гордиться родом своим, то я от деда получил такое наследство, что оно потянет потяжелее, чем княжеское. Князей Оболенских тьма-тьмушая: роду-то более трёх веков. Люди они разные были: и царские перевороты делали, и с Герценом водились, да в Октябрьские дни страну все покинули. А дед мой был единственным, неповторимым, как и созданный им журнал. Почитай как-нибудь на досуге эти фолианты – кое-что поймёшь, кто такой Леонид Егорович Оболенский...

СПРАВКА:

Оболенский Леонид Егорович (1845–1906) – публицист, философ, романист, поэт. В 1880–1882 гг. издавал научно-литературный журнал «Мысль», а в 1882–1891 гг. – «Русское богатство».

ОТСТУПЛЕНИЕ АВТОРА

Итак, распростимся с наивной мечтой встретить родовитого потомка великорусских князей на страницах этой повести. Нынешнее восторженное преклонение перед династическим древом не найдёт себе пищи в этом повествовании. Мы не сможем удовлетворить своё тщеславие описанием родословной разветвлённых родов, не поместим роскошных картин дворянских усадеб и благотворительных порывов предков нашего героя. Корнет Оболенский с его страстным порывом пойти на гибель ради обожаемого монарха и

воинской клятвы не появится на страницах сего сугубо документального опуса, равно как и всё верноподданное воинство, занявшее свои позиции на крайнем полюсе разделения России в страшную эпоху переворота.

Наш герой – выходец из разжалованных дворян-разночинцев, из трудяг срединного слоя культуры, который слишком тонок и неэффективен в державе, где всё разделено на полюса: с одной стороны – абсолютная нищета, нестяжательство и подвижничество, с другой – концентрация родовых богатств, высокомерия и спеси, пренебрежение к безродным и бесталанным. Леонид Егорович Оболенский, фигура для кого-то малозначащая и мимолётная, на самом деле куда важнее многих высокопоставленных монстров нашей истории. Встречи с ним происходили у меня постоянно, и вот при каких обстоятельствах.

Много лет назад, в бытность свою вузовским педагогом, ездил я обучать студентов в Полтавском стройинституте. Именно там, к удивлению своему, открыл я существование дома-музея Владимира Галактионовича Короленко. Мало посещаемый особняк на окраине Полтавы, среди зелени каштанов и лип, оказался для меня чудом сохранённого образа жизни разночинца-интеллигента. В комнатах этого скромного дома (не дворянской усадьбы, подчеркиваю) не было ни табличек-пояснений, ни дотошных рекомендаций, как понимать и как трактовать эту странную фигуру писателя. Только в длинных беседах со служащими музея узнал я, что музей сохранился в неприкосновенности всех деталей и обстановки со дня смерти писателя, дожившего до первых лет советской власти. Приглушённо говорили о том, что Короленко не принял советской власти, что демонстративно прятал в дни перехода власти в городе поочерёдно то белых, то красных. Говорили, что писал он какие-то возмущённые письма своему знакомому по Полтаве Анатолию Васильевичу Луначарскому, а тот не отвечал на них. О чём были эти письма конкретно – говорить избегали.

В кабинете писателя рядом с письменным столом стояла нехитрая утварь сапожного мастера, и экскурсоводы пространно рассказывали, что писатель в годы ссылки добывал себе пропитание этим ремеслом, освоенным им в совершенстве. Тома журнала «Русское богатство» в золотых переплётах молча стояли в застеклённых шкафах, храня в себе душу давно минувшего времени...

Прошли годы. Я прочитал ставшую для меня откровением великую мудрую книгу Короленко «Записки моего современника», узнал подробно этическую линию твёрдого поведения автора, известного широким массам лишь по крохотным повестям «Слепой музыкант» и «Дети подземелья», впервые увидевшим свет в «Русском богатстве».

Оказалось, что все скитания автора, ссылки, тюрьмы, репрессии имели место только по нравственной линии неприятия насилия. Отказ от присяги императору, подпись под обращением протеста в связи с обыском в студенческом общежитии – вот все мотивы, по которым он был обречён на ссылки и скитания в краях, куда «Макар телят не гонял». Для России этого достаточно. Но Короленко не поддался ни соблазну стать профессиональным революционным деятелем, ни искушению покинуть после всех несправедливостей свою Родину. Оскорблённый и униженный, он стал беллетристом обездоленных, стал глашатаем

иных чаяний переустройства жизни, которые не вписывались ни в программы народников, ни в жёсткие схемы социал-демократов. Независимость – вот тот идеал свободы, который он исповедовал всю сознательную жизнь, и именно её он проводил в том журнале.

Гаршин и Успенский, Мамин-Сибиряк и Вересаев, Чехов и Леонид Андреев – не перечислить именитых авторов, его единомышленников. Но вершиной взлёта его гения стали даже не энциклопедические страницы «Записок моего современника» (вещи уникальной по исповедальности, равной «Былым и думам» Герцена). Только семь десятилетий спустя дошли до широкого читателя могучие, исполинские тексты гневных писем к Луначарскому, в которых интеллигенция России устами Короленко заклеила диктатуру большевиков, не признавая их морального права на насилие и жестокость по отношению к народу.

Да, не случайно и имя Короленко, и имя Леонида Оболенского-старшего вычеркнуты были десятилетиями из святцев русской духовной культуры. Вражда и ненависть классового подхода искусно избегали упоминания об этих деятелях Отечества, равно как сбережения их трудов в полном объёме... Как я жалел, что полное собрание «Русского богатства» (а мне предлагали комплект журнала для моего города) так и не доступно моим землякам!

Заканчивая это отступление, я хочу подвести читателя к мысли, что родословная моего героя потаённа и куда более сложна, чем броские биографии ультрамонархистов или экстраревольюционеров. Он получил в наследии своём только-только становящийся в нашей истории полный сомнений гуманизм – самое проблематичное мировоззрение для столь абсолютной по религиозно-революционному духу страны. Тот рациональный гуманизм, который по каплям сберегали писатели и художники, накапливали музыканты и мыслители. Тот взвешенный гуманизм, которому потом не верили ни импульсивные творцы переворотов, ни покинувшие Советы исследователи судеб России – Бердяев, Франк, Шпет и другие. Бердяев писал: «В России в силу религиозного её характера, всегда устремлённого к абсолютному, конечному, человеческое начало не может раскрыться в форме гуманизма, то есть безрелигиозно...».

Увы, мой герой имел совсем другое представление... Не в этом ли драма его судьбы?

НА КРАСНОМ ФРОНТЕ

Как рассказывает Леонид Леонидович, детские и юношеские его годы прошли в Арзамасе. Отец его был банковским служащим и, верный традициям, обучал своих детей в классической гимназии. Оттуда через всю жизнь идёт знание языков и преклонение перед республиканскими идеалами, отсюда следует странное противоречие между консервативным укладом жизни глубинной, коренной России и романтической наивностью её лучших сыновей, готовых на отречение от старого «поповского» мира ради светлых обаятельных мечтаний о будущем справедливом устройстве.

Тут следует изложить следующее обстоятельство: юность героя приходится на критическое время предреволюционных потрясений, на Серебряный век русской культуры с её модернизмом, неохватным по ярчайшим своим характеристикам. Нерелигиозный дух искусства, вызванный разочарованием в старых путях отыскания истины, незримо присутствовал везде – в диссидентстве, в левом фронте противостояния академизму, в отрицании почвенности и самобытности российской истории.

Октябрь разделил деятелей искусства на две неравные части. Одна из них решила остаться верной милосердному гуманизму с его стойкостью против насилия.

Другая часть, идеалы которой высказал Александр Блок в напряжённой трагической статье «Интеллигенция и революция», нашла в безрелигиозных максимах революции источник своей надежды. Среди них, естественно, было много молодёжи, ровесников Оболенского. Возникло уникальное явление «революционного искусства», которое автор этих строк не собирается ни отвергать, ни оправдывать. Семь десятилетий его существования – наличный факт, не вызывающий сомнения.

Герой нашего повествования – активный творец и участник этого искусства. Сам он никогда не отказывался от достижений и просчётов этого феномена, поэтому мы можем с высоты сегодняшних горьких уроков высказывать лишь суждения на этот счёт, но не вправе сомневаться в искренности тогдашнего настроения молодёжи.

А факт остаётся фактом: весной восемнадцатого года шестнадцатилетний юноша Леонид Оболенский участвует в первых боях на фронтах гражданской войны, причём одет он в красноармейскую форму и в руках у него – трёхлинейка. Именно с ней появляется он на экране первого советского кинофильма, снятого оператором Эдуардом Тиссе и режиссёром Петром Кулешовым на Среднем Урале.

– Скажите, Леонидыч, – спрашивал я неоднократно, – почему вы оказались на красной стороне. Это был сознательный выбор или случайно?..

– Никакой случайности не было. Отец был управляющим пермским Крестьянским банком, национализированным в Октябре, служил, честно считая, что развал денежной системы без опытных счётных чиновников неминуем. В те дни красные отступали под давлением белочехов, а он эвакуировался в Вятку. Мне посоветовал идти в Красную Армию, что я и сделал. Особых раздумий по младости лет я не испытывал.

– И вы очутились под Тагилом тотчас после взятия Екатеринбурга белыми? После расстрела царя вы всё-таки заняли место среди большевистских войск?

– Да, про царя говорили... Но он был отрёкшимся от престола. А некоторые члены царской фамилии даже поддерживали революцию. Я сам видел великого князя Михаила в Перми с красным бантом...

– Да, но Михаила убили анархисты или кто-то другой именно в Перми в те страшные дни...

– Михаила убили раньше, но слухи были расплывчаты, сообщений в прессе не публиковалось. Была, конечно, анархия, и мне казалось, что я выбираю правую сторону. Нищета народа была очевидна, и этого было достаточно, чтобы выступить на стороне угнетённых.

Только я воевал недолго. Группа Льва Кулешова, снимавшая первый документальный фильм «На Красном фронте» под Тагилом, оказалась для меня удачей: меня пригласили в Москву попытать счастья в актёрской роли. Чем-то я понравился Кулешову...

Трудно себе вообразить за далью времён, на что именно мог рассчитывать недоучившийся гимназист в неустроенной голодной Москве, почему фортуна выбрала его среди тысяч красноармейцев – среди, казалось бы, серой, безликой массы, горланящей лихие песни и идущей скопом в штыковые атаки против вчерашних земляков и однополчан. Страшный лик гражданской войны видится нам на расстоянии зловещим необъяснимым хаосом, где нет спасения ни душе, ни совести, ни чести. Закрученные водоворотом люди, должно быть, бессильны вырваться из него.

Однако уже первый поворот судьбы Оболенского загадочен и символичен: не только личное спасение от фронта принесла ему первая коротенькая роль, но и стремительные изменения в судьбе. Личность Кулешова на десятилетие станет путеводной звездой для молодого Оболенского – звездой притягательной, волнующей и вдохновенной. Судьба не перестанет баловать моего героя и впоследствии. И ровно столько, сколько она воздаст ему милостей, – столько же она будет подвергать его пыткам, истязаниям и издевательствам. Есть какая-то глубинная закономерность во всём этом, и автор, поражаясь грандиозности пластов жизни своего невыдуманного героя, будет всё же пытаться разгадать эту загадку.

И следующая глава – одно из звеньев в цепи этих размышлений.

СПРАВКА

Оболенский Л.Л. с 1919 г. учился в государственной киношколе (с 1938 – ВГИК) в мастерской Кулешова, снимался в фильмах «На Красном фронте» (1920), «Необыкновенные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924), «Луч света» (1925).

ОТСТУПЛЕНИЕ О СУДЬБАХ ОТЕЧЕСТВА

«Нет ничего в наличности сегодня, чего бы не было раньше в духе...».

Таково основное положение, высказываемое русскими философами вслед за мучительными открытиями европейской школы идеализма. Горьким опытом далось это осознание, хотя корни его уходят глубже эпохи Возрождения, к урокам христианства и Библии. Совершается крушение доктрин грубого материализма, в котором сегодня, мы убедились, алчет и взыскует к переоценке ценностей. За судьбой и трагедией одного человека – киноактёра Оболенского – встаёт судьба его современников, делавших выбор в недоступную уже для исправлений и дополнений эпоху. Но мы, стоящие в финале грандиозной исторической фазы, во имя наших детей и внуков, во имя истины обязаны вновь и вновь углубляться в прошлое, дабы отыскивать глубинные первопричины следствий, открыть и проявить распутья, на которых дух, колеблясь, сворачивал на пагубные или праведные пути. Так было с многомиллионными массами, так было с каждым, кто выжил, кого судьба сберегла нам в назидание и научение.

Оболенский в этом смысле необыкновенно типичен, неся в себе великий смысл: он – чернорабочий духовной сферы, пусть из множества увлечённых иллюзиями и талантливо воплощающих их. Все повороты его судьбы словно повторяют зигзаги наших фантазмагорий духа – красноармеец в дни гражданской становится идолом эпохи нэпманского немого кино, открывая «Мистером Вестом в стране большевиков» целую серию прото-боевиков, которые по сарказму истории и сегодня кажутся весьма современными.

В тридцатые он меняет учителя, меняет социум, создавая с Эйзенштейном и Пудовкиным классику революционного кинематографа – от «Потёмкина» до «Ивана Грозного», плавно следуя жёстким рамкам сталинского «недреманного ока государева». В пятидесятые годы основывает телевизионную документалистику, напрочь отрешаясь от постановочных сценариев и политических догматов. В шестидесятые и семидесятые охотно снимается в отечественных исторических и псевдоевропейских постановках, играя роли графов, князей, родовой знати всех времён и народов, от Стендаля до Агаты Кристи...

Обо всём этом я расскажу затем подробнее. Но сейчас я констатирую самое обыденное, тривиальное: мой герой жил типично, как и его народ, послушно следуя предрассудкам времени, не выпадая из общего настроения, а наоборот, как художник, чутко улавливая его, великолепно воплощая ожидания публики и получая от неё неизменный успех и признание.

Он не был писателем, конструирующим искусственных героев. Он не был поэтом, находящим в истории классовые битвы и гиперболизирующим их в слове. Он не был музыкантом, творцом в самом совершенном из искусств, раскрывающем драму и заблуждения своей эпохи.

Он был создателем самого массового из всех видов искусств – кинематографа, рождение которого у нас в стране совпало с Октябрём и стало невиданным по воздействию и размаху идеологическим оружием в руках его хозяев. Массовость была силой и ахиллесовой пятой десятой музы. Не на сибарита и не на эстета рассчитывали творцы площадного искусства, а на дух толпы этой необыкновенной страны, лишившейся разом тонко образованной гуманистической интеллигенции, смелых пророков и философов, свободных

художников и независимых предпринимателей. Исчезли в стране и духовные пастыри, заменённые начётчиками и прорабами. Евангельские истины постепенно глохли перед партийными спорами и трудовым энтузиазмом наивных разрушителей старого мира.

«Великая беда русской души – в женской пассивности, переходящей в «бабье», в склонности к браку с чужим и чуждым мужем. Русский народ живёт в коллективизме – национально-стихийном, в котором не окрепло ещё сознание личности, её достоинств и прав», – писал в те годы, находясь за рубежом, Николай Бердяев. Он добавлял вслед за Розановым: «Русская душа испугана грехом, и этот испуг мешает ей мужественно творить жизнь, овладеть своей землёй и национальной стихией»...

Сегодня, оставаясь во многом ещё в плену роевого коллективизма, мы имеем достаточно доказательств того, что испуг наш – не мистический, не суеверный. Многовековая тотальная машина истребления инакомыслящих не вчера прекратила свою рубку голов. Подвиги творчества доступны единицам, количество которых, неизменно увеличиваясь, может перейти в качество лишь в процессе смены поколений. Сегодня мы живём наследием Платонова и Булгакова, Солженицына и Сахарова, оставшихся почти недоступными своим современникам. А кинематограф тех далеких 20–30-х – что он для нас сегодня?

Великой «хлыстовщиной» искусства называют иные ту самую эпоху немого кино, увлечшего якобы на путь невиданно распутного и внационального формализма своих творцов, вольно или невольно грешащих перед традициями и неторопливым укладом мышления собственного народа. Сектанты-хлысты возникли от жажды немедленного воплощения идей христианства, вплоть до оскпления самих себя ради служения Господу.

Кинематограф хотел, считают иные критики, оскопить массу россиян немедленно и оглушающе, лишив её разом прошлой истории, семейного уклада, почитания святынь и наивных предубеждений. Внешне это так.

Игорь Ильинский и Анатолий Кторов дерзко разыгрывают фантасмагорию-водевиль над поповским идиотизмом («Праздник святого Йоргена»). Лучом смерти грозятся нам зарубежные хари толстосумов («Луч смерти» Кулешова). С подлым расчётом проникает хитростью в великую державу коварный иностранец («Мистер Вест» Кулешова). Остолопы из провинциальной глубинки не способны ни работать справно, ни понять друг друга («Кирпичики» самого Оболенского). Фантасмагория сюжетных вывертов, шалая беспомощность обывателей перед наглцами и проходимцами, неувядаемый идиотизм народа в своей массе – всё это обрушилось шквально, залихватски и неудержимо, вызывая хохот и оупение залов, не умеющих сосредоточиться и вообще понять, что всё это значит.

Правда, из глубины шли на Руси традиции скоморохов и райка, родственные этому калейдоскопу феерических смехачеств. Были рядом Ильф и Петров со своими фельетонами в «Гудке» и язвительный Михаил Зощенко – самые яркие из советских сатириков, переживающие затем несколько поколений россиян...

Как быть с этим? Какую страницу собственной судьбы видит в этих годах Оболенский?..

ПЕРВЫЕ ШАГИ

– Начинал я танцором. Чечёточником. Да, не удивляйтесь – я был хорош собой, высокого роста, со стройной фигурой. Я танцевал в ресторанах и великолепно отбивал любой ритм. Тогда появились десятки кафешантанов, и мне было отнюдь не зазорно забавлять публику, тем более что меня исправно кормили. Я умел носить фрак и смокинг, изъясняться по-французски, нравился женщинам и беспечно смотрел в будущее.

– И вы продолжали сниматься, казалось бы, в бессмысленных ролях?

– Да, Кулешов привлекал меня в фильмы то коротенькие, то чуть подлиннее. Немой фильм имел свою каноническую эстетику: жизнь светских красавиц и совратителей, приключения с забавными эпизодами, комические нелепости. Мы не задумывали сверхъестественных сюжетов – образы Чарли Чаплина и Мэри Пикфорд царили над миром. Нам приходилось действовать сообразно ожиданиям публики.

– Так вы не искали разве свой идеал, свой образ? Чаплин создал бессмертный образ маленького пугливого обывателя, который старается не потерять своё достоинство, несмотря на тысячи унижений, и за это его обожал весь мир.

– Искусство комического в немом кино требует отточенной пластики – и мы истово занимались жестом, мимикой, пластикой. Если хотите – я создал образ рыцаря без страха и упрека. На этой бедной истерзанной земле подлинным рыцарем мог стать только авантюрист, и его надо было создать правдиво и привлекательно. А кто такой Шварценеггер или Бельмондо сегодня: штамп, клише, но попробуйте оторвать его от национальной гордости...

– Кстати, Леонидыч, считается, что в России не было почвы для создания образа супергероя, кроме как на революционном материале. Тургенев не случайно создал своих положительных деятелей на примерах леворадикальных...

– Я сейчас думаю, что нам в юности в кино интуитивно хотелось больше шаржа, гротеска. Немое кино – жанр ходульный, ему чужды психологический реализм, тонкость оттенков. Кстати, и Ильф с Петровым создали Бендера на гротеске. Мы с Кулешовым делали для себя открытия, может быть, и известные литературе, но мы шли от цирка. Слом сюжета в невероятное, но возможное, почти абсурдное – разве это не увлекательно? Жизнь нельзя показать без слома, и кино давало великолепные шансы для дерзания.

– Но вы сделали ещё ряд открытий, о которых пишут все учебники, все монографии о кино...

– Учебники лгут и канонизируют, пытаюсь спрямить наш метод проб и ошибок. Мы были экспериментальной лабораторией, но то, что тайну монтажа случайно открыл Кулешов, – это бесспорно.

– Тайна монтажа литературного сюжета известна с древних времён. «Слово о полку Игореве» смонтировано из кусков похода, размышлений, пророчеств, любовных плачей – и это привычно грамотной публике...

– Да, но в видеоряде всё приобретает грозную философскую силу. Мы случайно склеили два сюжета – и получился новый смысл. Берег, взлетающая чайка, обломок мачты – и вот вам ощущение трагедии, кораблекрушения, причём без детального пересказа. Воображение вступает в свои права волшебным образом. Мы были потрясены, когда наугад склеенные фрагменты давали третий, четвёртый, многомерный смысл. Это было потрясением, изумившим нас: открывалось необозримое поле для искусства, недоступное ранее. Мы поняли, что кино – это монтаж!

– У Бунина рассказ «Лёгкое дыхание» – шедевр монтажа, тончайший опыт склеивания мозаики из созерцания надгробия, гимназической шалости, пошлой мелодрамы убийства и наивной девичьей грёзы. Разве этого нельзя было знать заранее?..

– Мы в юности мало анализировали классику, да к тому же, повторяю, кино – это техника. Освоить приёмы съёмки, ракурса, планов и их чередования – уже само по себе громадный труд, не видимый зрителю. Но поэзия началась именно с монтажа, когда у тебя в руках – десятки фрагментов, а идея калечит логику и вызывает мучительное чувство недовольства. Нам хотелось хулиганить и дерзить – в «Кирпичиках» я это смог сделать, пожалуй, единственный раз в жизни.

– У меня такое чувство, что вы всё-таки были больше формалистами, чем сострадающими творцами. Вот один из полузабытых русских философов Иван Ильин писал: «Формальное отношение к творчеству облегчает достижение успеха. Оно требует только мысли и воображения, игнорируя совесть, честь, патриотизм и жалость. Именно это породило модернизм во всех его видах, не нуждающийся ни в сердце, ни во вдохновении...»

– Пожалуй, сегодня, спустя более полувека, я бы мог с этим и не согласиться. Упрекать нас несложно, но вот парадокс: на формальности строилось тогда всё общество, вся идеология. Формальная дисциплина государства, нарастающий тоталитаризм, пронизывающий всё и вся, – почему же тогда именно в нас они видели своих оппонентов, подозрительных вольнолюбив?

– Скажу больше: подозрительность по отношению к нам – формалистам, авангардистам – росла год от года. И апогей пришёлся отнюдь не на тридцатые годы – годы невероятной жестокости и физической гибели миллионов, меня лично ненавидеть начали далеко позже – с пятидесятых, когда я начал кое-что понимать в искусстве сердца... Я начал действительно сострадать...

– Мы ещё к этому вернёмся. А пока, чтобы закончить тот период, осмыслив его, я хотел бы, чтобы вы рассказали о встрече с Сергеем Эйзенштейном... Есть ведь знаменитый снимок – вы посвящаете мэтра в звание киношника. Стало быть, вы ввели Эйзенштейна в круг десятой Музы!

– На снимке Эйзенштейн посвящает Васильева, а я лишь зачитываю текст. Эйзенштейн пришёл к нам из цирка, был режиссёром массовых цирковых представлений – тоже вид площадного искусства. Там всё – от клоунады до жонглёров – построено на балансировании, на возможном срыве, на преодолении обыденного, житейского. Вы видели, как ахает публика случайному срыву канатоходца и как помогает ему каждым вздохом потом. Ошибка (пусть преднамеренная, тонко сработанная) мгновенно прокладывает мостик доверия между актёром и зрителем. Эйзен это мастерски изучил и знал до мелочей.

– Стало быть, он пришёл зрелым мастером? Чему ж вы его могли научить?

– О! Это надо читать его собрание сочинений. Я – счастливейший человек на земле, обо мне у Эйзена десятки упоминаний. Я дожил до того времени, когда труды этого гения вышли в свет, переведены на многие языки и стали непререкаемы... А ведь началось с того, что я рассказал ему о тайне монтажа, а он загорелся, он непременно хотел попробовать. Он овладел ломкой в кино, как Достоевский – в литературе...

Несколько лет назад хранитель музея Эйзенштейна киновед Наум Клейман обнаружил в блокнотах Эйзена (что висели над постелью – свидетели ночных размышлений) такую запись времён «Потёмкина»: «Заполучил Оболенского в свою школу, поручу ему методичку». Так я стал постоянным посетителем его квартиры и собеседником.

– Ваши фильмы мало известны. Назовите хотя бы их...

– «Степная красавица» по сценарию Чаянова, «Эх, яблочко» (сценарий Туркина), «Торговцы славой» (по пьесе Паньоль-Нивуа).

Словом, я был достаточно независим, встретясь с Эйзенштейном...

СПРАВКА:

Оболенский Л.Л. в 1925–1928 гг. – режиссёр киностудии «Межрабпом – Русь», где снял ф. «Кирпичики» (1925), «Эх, яблочко» (1926), «Аблбидум» (1928), «Торговцы славой» (1929). С 1928 г. работал над проблемами техники и технологии звукового кино...

РЯДОМ С ГЕНИЕМ

В какой обстановке произошла эта встреча, определившая судьбу Оболенского надолго, может быть, на всю оставшуюся жизнь? Ведь тома Эйзенштейна навсегда прописаны в его

квартире, где нет ничего лишнего. И портрет учителя тоже всегда на стене, нарисованный стремительной рукой самого мэтра – он был непревзойдённым рисовальщиком, графиком и декоратором.

Перелом, названный Великим, коснулся не только экономики и раскулачивания. Резко изменилась духовная атмосфера общества. Покинул страну Евгений Замятин, написав пророческий роман-предупреждение «Мы». Под запретом оказались Булгаков, Платонов, Мандельштам. Умер обожаемый и по-дружески семейно знакомый Луначарский, когда-то не ответивший Короленко, но смягчавший пресс возрастающего давления на искусство.

Приехал Горький – самый загадочный из живущих классиков, эмигрировавший из-за несогласия с террором большевиков, написавший «Несвоевременные мысли», а теперь работающий над исполинским романом «Жизнь Клима Самгина», в котором сводил счёты с почему-то ненавистной ему интеллигенцией. Сталинские соколы взлетали в небо, шла тотальная переоценка ценностей, остриём которой было отношение и переосмысление Октября и всей российской истории. Погромы научных школ только-только начались. Погромы интеллектуалов репетировались на Промпартии и процессе Чайнова.

И в этих условиях Эйзенштейн снимает почти в фантастически короткий срок «Броненосца», где искусство монтажа достигает вершины мастерства. Ревут и рвутся с пьедесталов каменные львы. Неудержимо щетинятся штыки солдат против народа. В бесконечность катится детская коляска по ступеням одесской лестницы. Горит свеча в мёртвых пальцах убитого матроса. Справедливость возмездия Октября преступлениям царизма приобретает логически тотальный смысл...

Не было в мировой кинематографии более плакатно-мощного произведения, чем этот зримый миф о восстании отчаявшегося народа, одетого в матросские бушлаты. Исполинской бунтарской историей повеяло с экрана; эпохи Разина и Пугачёва сомкнулись с событиями пятого года, и шквал гнева, казалось, пронизывал своими токами зрительные залы.

Партия и правительство аплодировали создателям ленты, расценённой как ярчайший образец пропаганды большевизма. Так ли это было и есть? Сегодня, когда танки и армейские бронетранспортёры уже не раз гремели по улицам Империи Советов, когда вновь сходятся невооружённые людские толпы со своими оцетинившимися железом сыновьями в мундирах, мы по-новому, глубже и трагичнее можем видеть гениальность этой ленты, задавшей нам на целое столетие вопрос – кто же владыка истории, с каким народом имеют дело политики на шестой части суши...

«Чтобы добыть свет в нахлынувшей на мир тьме, необходимо космическое углубление сознания. Если остаться на поверхности жизни, то тьма поглотит нас», – писал Н. Бердяев. Общим убеждением россиян прошлого века, начиная с Чаадаева, было убеждение, что Россия скажет миру новое слово: «Ведь, стоя между двумя частями земли – Востоком и Западом, – мы призваны разрешить мировые вопросы, ответить на загадку цивилизации...»

В 30-е годы ответом в политике был тоталитаризм в образе фашизма и большевизма, ответом в искусстве – «Броненосец Потёмкин» и поэмы Пастернака «1905 год», «Лейтенант Шмидт». Политики взвинчивали истерию национал-патриотизма, гении искусства показывали, что есть предел терпения у любого народа. И оба эти течения – дела и мысли – шли параллельно, одновременно нарастая, словно вызывая друг друга на стремительную дуэль.

Сталин и его подручные мистифицировали обвинения, сталкивали вчерашних соратников в доносах и покаянии, запугивали нацию угрозами вражеских нашествий и шпиономанией. Эйзенштейн и Пастернак предупреждали, что народу присуще чувство достоинства, свой нравственный императив, попираемый бесконечно нельзя. Гитлер и его клика, участвуя у большевиков социальной демагогии и провокации, дополняли их арийской дотошностью, языческим идолопоклонством и метали грома-молнии против жидовствующих ересей. Стефан Цвейг и Фейхтвангер рассматривали гуманизм в истории как неизменный вектор коллизий, как трагический удел одиночек, растаптываемых толпой, а затем превращённых в святых и пророков. Они добывали свет в наступившей кромешной тьме, уходя в глубь времён и событий, и в этом была их великая святая миссия, ибо церковь умолкла и в Германии, и в России, ибо человек был обезоружен и наг на лагерных нарах, а техника грозила опалить огнём все континенты...

Что из того, что Цвейг и Фейхтвангер эмигрировали, а Эйзенштейн и Пастернак пользовались известностью и даже славой в условиях имперского режима? Считать их апологетами сумасшествия современников так же нелепо, как обвинять Пилата в «умывании рук» перед обозлённым, обманутым народом, требующим немедленного распятия Христа.

Да, Булгаков и Платонов творили свой суд Времени втайне, не зная компромиссов и колебаний. (Но всё же Булгаков писал о Сталине в Поти, а Платонов – «Реку Потудань»). Однако гений Шостаковича создал Пятую и Шестую симфонии, заставившие содрогнуться мир в ужасе от происходящего в России. Эйзенштейн взял ещё более пророческую тему – тему первой русской революции, где бок о бок шли демократы и тоталитаристы, демагоги и либералы, где нация в едином порыве вырвала из рук монархии парламент и Конституцию. Пастернак точно сделал выбор своего героя – безызвестного до мига восстания родовитого офицера флота, благородного и честного в своём служении не формальной присяге, а истинной народной цели. Здесь он следовал Пушкину, который мучился проблемой: кто из дворян осмелится примкнуть к народу и из каких соображений, когда исследовал пугачёвский бунт.

Пастернак прозревал на столетия вперед, что любой поворот в истории России могут решить только рыцари из офицерского сословия – настолько, насколько они будут просвещёнными и искушёнными в истории своего народа, в его столкновениях и коллизиях. Эйзенштейна волновали проблемы стихийного бунта, ослеплённого и разрушительного, перерастающего в хаос, когда нет интеллектуального поводыря, нет доверия ни к вождям, ни

к партиям, когда слепая машина армейских чудищ может привести к поголовному погрому нации и глобальной катастрофе.

Надо ли говорить, что обоюдные достижения гениев – бесценный вклад в духовный арсенал нашего искусства. Старые мерки оказались не пригодны для размеров совершившихся событий, для их сложности и новизны. Люди оказались духовно совершенно не подготовленными, и художники подробно и в мельчайших деталях показывают это. Вот почему и стилистика Пастернака – однообразно-трагедийная и кошмарная, и стилистика Эйзенштейна – гротескно-сюрреалистическая, чувственно-отталкивающая, были доселе неведомы публике и произвели оглушительное впечатление. Триумфальное шествие ленты о броненосце, конечно, не сравнимо с известностью поэм Пастернака, но все они – звенья одной цепи. Кстати, последние для интеллектуалов Запада не менее, чем лента Эйзена, чтимы и изучаемы в бесчисленных институтах советологии и русистики, уровню подготовки которых нынче уже не стоит удивляться. Известно, что Набоков, наиболее чтимый за рубежом русский писатель середины века, восторженно отзывался о пастернаковских поэмах тех лет...

Так совершался в искусстве Советов духовный поворот от социологического мироощущения к космическому. Трагедия, однако, состояла в том, что осознавшие его – а таких было в начале 30-х тысячи – немедленно подлежали уничтожению, о чём мы хорошо знаем теперь. Ценности Пастернака, Эйзенштейна, Шостаковича, Прокофьева обучали общечеловеческому, общеземному и потому – космическому (в стране названному ещё резче – «космополитическому»), за что следовала кара вплоть до потомства.

Сталин это хорошо понимал. Мне непонятно, почему он всё же шепетильно оберегал названных художников от разгула репрессий, почему рядился даже в тогу покровителя этих действительных гениев, истребляя поголовно всю их паству и прихожан.

Об этом я попытался поговорить и с моим героем...

ЭПОХА РЕПРЕССИЙ

– Леонидыч, вы пережили чудовищное по разгулу время. Вы были рядом с Эйзенштейном не только в дни съёмок «Броненосца», но и «Грозного». Что это было – капитуляция, сдача?

– Положим, я не работал совместно с Эйзенштейном. Я снимал вместе с Борисом Барнетом фильм «Окраина» (1933), был звукооформителем в фильмах «Великий утешитель» (1933) и «Марионетка» (1934). «Потёмкин» снимался в середине 20-х, и вы о нём уже говорили. В 30-х была у Эйзена трагедия «Бежина луга» – ленты этапной, бескомпромиссной, задуманной и выполненной как сопротивление идеологии предательства отцов детьми...

Идеология павликов морозовых была тщательно сконструирована и сказала строгое «нет» попыткам Сергея Михайловича взорвать её изнутри. Хотя в работе над идеологией использованы многие достижения немого кино: парадоксальность монтажа, кадры наивной буколки села и сатирические приёмы сравнения людей и животных. Панургово стадо, стадо баранов, проходит сквозным действием на фоне орущих владык и пресмыкающихся подхалимов. Даже бык Васька играл свою комическую роль разбойника-смутьяна, опровергавшего каноны деревенского идиотизма. Лента была безжалостно разрезана и запрещена.*

* Ленту нашли по срезкам и воскресили спустя полвека, реабилитировав во многом имя Сергея Михайловича...

После такого удара он долго не мог решиться на следующую работу. Для него быть без дела – самоубийственно. Мрачные годы (шёл конец 30-х) требовали от художника такого масштаба поднятия исполинских тем, и он задумал «Грозного» как грандиозное полотно, феерию самой узловатой трагедии истории России.

– В своём собрании сочинений он посвящает работе над «Грозным» несколько глав. Под силу ли нам объять эту эпопею, тем более что вы дружили с Эйзенштейном и беседовали с ним в те годы?..

– Увы, работу над второй серией Сергею Михайловичу пришлось заканчивать в разгар войны, в Алма-Ате, когда я был за тысячи километров от него. Но первая, самая запевная и изнурительная, отняла у него изрядный кусок души и сил...

– Картина известна каждому, практически всем поколениям советских людей. Интересно, что с возрастом понимаешь её совсем иначе, чем в детстве и юности. Тогда мы однозначно влюбились в грозного владыку Руси, обожали и сочувствовали его борьбе с боярами. Мы были верными детьми своего времени, гордились киноисторией своего государства. Такие фильмы, как пудовкинский «Минин и Пожарский», как «Суворов», потрясли нас точно концентрированной национальной гордостью, почти гордыней. Неужели это была только наука ненависти, как и предвоенный «Александр Невский» того же Эйзенштейна?..

– В «Невском» я консультировал только по звуку, ибо освоил немецкую технику, спасающую мне жизнь впоследствии. И «Невский» тоже был экспериментом – это ведь почти опера в кино, условная и театрализованная.

– Так я повторяю: неужели это было школой ненависти, вызванной лишь предвоенной тактикой строя, которому вы верно служили?

– Видите ли, это был наиболее видимый, поверхностный строй фильмов. В каждом из них Эйзенштейн, насколько я понимаю теперь, заложил множество побочных подводных течений. Наружный слой видел Сталин, видело Политбюро – и они, как люди прагматического мышления, были довольны. Никто не может отвергнуть того факта, что

психологически эти фильмы сыграли свою роль в войне. Нация имела мощную духовную опору в историческом прошлом...

– Недаром, видимо, и прозвучали в грозный час с трибуны Мавзолея ожидаемые давно слова о наследии Невского и Донского, Минина и Пожарского...

– И это тоже, но заметьте, слов о наследии Ивана Грозного не произносилось. Фильм С.М. был весьма неоднозначен. Более того, он был пугающе современен: образ Малюты Скуратова и его друзей-опричников – это ведь не оперетка, как ни колоритна работа Черкасова, Жарова, Бакланова и других новоявленных звёзд кино. За ними едва-едва, но просматривалась гулявшая по стране стихия репрессий. Эйзен всё время кружил возле одной темы: власть и её нравственность. Чего стоит только гениальный диалог Патриарха и Царя – Абрикосов против Черкасова выглядит пугающе убедительным, страшно, бездонно правдивым. Этот эпизод – на контрасте с дурачком князем Василием – долго вызывал неприязнь всесильного Цензора, десятки раз переделывался, но так и не был исключён из фильма...

– Но это прямые исторические аналоги, а вы говорите о подводном течении мысли...

– А вы возьмите пласт народа, тот феноменальный артистизм типажей, который феерически создает С.М. Галерея нищих и бунтарей, насильников и бояр, опричников и казаков – одних этих эпизодов с избытком хватило на десятки полотен живописцев, баталистов, бытовых историков. Недаром Эйзен был равно талантлив в изобразительном ряде монтажа и звукописи. Каждый кадр строился расчётливо, став классикой, нет ни одного проходного образа...

Разве за всем этим не стоит великая вера в то, что царь не в силах сломить народ, что он – владыка – лишь прах на ветру? Вслед за Пушкиным культура Отечества получила гениальное исследование коренных бед и трагедий России. Вторая серия с её потрясающей пляской опричников (тут гений Прокофьева слился воедино с эйзенштейновским) не имеет себе равных ни в мировой кинематографии, ни в симфонизме...

– Вы так доказываете это, словно вы сам – соавтор фильмов. Но ваше имя даже не значится в титрах этих шедевров...

– Что из того. Я сам учился у мастера, был ассистентом Эйзенштейна на кафедре режиссуры и много думал о всём его таланте всю жизнь. У Луговского – одного из глубочайших советских поэтов – есть потрясающая поэма об Эйзенштейне. «Сны Алма-Аты». Он прекрасно понял величие и трагическую скованность автора «Грозного». Немногим удаётся вырваться на тот простор мыслей, воплощённый в образах, как С.М. Именно в образах, а не в символах. Ещё Аристотель видел это различие. Творить образы куда трудней, чем символы.

Хотя и Эйзенштейну это не всегда удавалось – Невский скорее символ, чем образ, более плоский и неживой, как его же Иван... Чтобы закончить эту тему предвоенного периода, я

хотел бы напомнить, что традицию образа Грозного в отечественном искусстве начал не Эйзенштейн. В XIX веке свои трактовки – не менее важные для потомков – дали и Алексей Толстой, и Александр Островский.

– Как Эйзенштейн к ним относился? Они ведь стояли на совсем иной, демократической трактовке той эпохи.

– В многотомнике Эйзена есть целые страницы размышлений на эту тему. Я могу отослать вас к ним. Пусть будущее рассудит нашу правоту и заблуждения – Эйзен не боялся суда самого пристрастного и даже предвзятого. Он так и писал: «Патриотизм – моя тема». Он сам писал сценарии, обладая энциклопедическими знаниями истории, нравов и быта эпохи, о которой делал фильмы. Всем тогда было нелегко, но мы не гнули шеи даже перед ледяными высотами идеологии. Примитивизм узкоклассового подхода был детскими штанишками для титанов той эпохи, и даже Сталин это понимал. Он мог погубить Мандельштама, но заигрывал с Булгаковым и Алексеем Толстым. А Эйзенштейна он не мог сдержать. Я думаю, мы победили в этом поединке, в этой схватке за честь и достоинство искусства перед Властью... Лишь тот, кто владеет самим собой, может господствовать над сознанием народа.

Воля, невероятная работоспособность и, повторяю, энциклопедизм Эйзенштейна сделали его куда более бесспорным духовным владыкой национального сознания, чем грубое давление вождя всех времён и народов.

Мы заканчиваем эту тему, хотя разговор о наследии Эйзенштейна для Оболенского бесконечен. Мы говорили о нём постоянно, многие годы и по разным поводам. Сегодняшний диалог – лишь реконструкция из множества проведённых с ним в разные дни, начиная с нашей первой встречи тридцать лет назад.

Когда я заканчивал этот диалог, я думал, как выросло и доросло до Эйзенштейна с тех пор общество. Счастлив человек, соприкоснувшийся с наследием гения. Истинно прав Пушкин – «Следовать мысли гения есть величайшее счастье на земле»... Жаль только одного – мысли самого Оболенского на этот счёт так и остались ненаписанными из-за постоянного сопротивления властей вольнодумству одного из вернейших учеников великого Мастера.

Пусть же эти краткие заметки хоть как-то восполнят то, чего не сумели сделать мы раньше.

ВОЙНА

Политические доктринёры вторично развязали мировую бойню. Не состоявшееся (хотя чаемое и вполне назревшее) духовное возрождение Европы было остановлено нашествием тьмы, разбуженных инстинктов, первобытных чувств. Нации взаимно презирали друг друга, а их вожди, потакая низкому уровню человеческой массы, хитроумно лавировали, обманывая

друг друга, а затем предавая вчерашние посулы в дружбе и согласии. Опутанные тайной дипломатией коварства народы были преданы за свою духовную незрелость и втянуты на фронты, субъективно отнюдь не желая этого. За спиной брошенных в окопы романтиков и патриотов мещане потирали руки и обогащались, в который раз торжествуя над наивностью простаков.

С винтовкой и подсумком Оболенский вновь оказался на русских полях сражений, теперь уже не на Урале, а в Подмоскowie, куда рвались танки Гудериана. Московское ополчение из пожилых педагогов и доцентов – последняя дань обескровленной гуманитарной интеллигенции – было выброшено прямо с грузовиков в ржаное поле. И с этого мгновенья началась иная жизнь, иная ипостась судьбы, дотоле благосклонно-милостивой к потомку родовых князей...

– Из окружения (брянско-вяземского) я был депортирован в Германию, в Баварию, под Мюнхен (Шталаг Ч) – солдатский лагерь. Благодаря знанию языков меня не особенно допрашивали, выдержали в резервации. Нашёлся француз (вернее – русский, офицер, бежавший с Врангелем, поступивший во французскую армию добровольцем), который служил в распределителе рабсилы пленных. Он вызвал меня и сказал: «Вам надо домой. Там под Царицыном такое творится, что скоро войне конец. Здесь формируют рабочую группу по ремонту автомобилей. Передвижную мастерскую на линии фронта. Вы соображаете в авто? Нет?»

Он перечислил профессии и упомянул звукооператорство и электроакустику.

– Вот это мне знакомо, – сказал я.

– Отлично, будете электриком, – решил он.

И отправился я домой, да ещё скорым этапом с моими русскими автослесарями. Приехали в Морозовскую, под Сталинград. И на другой же день наши лётчики разгромили всю мастерскую. А мы – естественно – все разбежались.

Я двигался на восток украдкой, когда стихало передвижение войск, ночевал в стогах, на гумнах, в брошенных хатах. Однажды при обыске в крестьянском доме, где я ночевал, меня вновь арестовали полевые жандармы – австрийцы, и снова отнесли ко мне снисходительно – повезли меня было обратно, к Харькову, и вновь выпустили – иди с глаз подальше... Я убежал теперь уже не на Восток, а на юго-запад, в Молдавию. Там, в Кицканах, в монастыре, я и провёл последние годы войны, вплоть до нового ареста в конце 46-го...

– Вы были там как беженец?

– Сначала так, потом, после долгих бесед с настоятелем, мне было предложено попробовать свои силы на духовном послушании. Послушник – и не монах ещё, но и не мирянин. Когда меня посвящали, отец-настоятель дал мне крест со словами: «Вот твой меч» – и Святое Писание: «Вот твой щит». Обряд этот запомнился мне на всю жизнь. Дотоле я

равнодушно относился к религии, к православию – эти же месяцы и годы дали мне очень много. Я научился читать по-древнеславянски, увлёкся даже переводами из жития святых. Всё это было прервано новым моим арестом – гэбисты нашли меня здесь по чьему-то доносу... Помню, как я вышел из стен монастыря голым, в одной белой рубашке, и пока шёл до машины-«воронка», крестьяне из жалости давали мне кто свитку, кто шапку, кто сапоги. Я сел в машину уже не монахом, а молдавским селянином.

Разговор со следователем был простой: «Из князей?». «Нет», – отвечал я. «Дезертир?» Я пытался описать, что со мной было. Мне, естественно, не верили. Упорно шили мне сотрудничество с власовцами, с ленинградской оппозицией.

– Да, я видел такие документы против вас, якобы вы даже принимали участие в пропаганде по радио на стороне противника.

– Всё это ложь и подтасовка. У меня действительно были знакомые, и даже весьма близкие, среди оппозиционно настроенной интеллигенции. Тогда, в конце 30-х, немало людей видели в Сталине тирана и предателя революции. Некоторые из них перешли на сторону немцев, и были, так сказать, «политруками» во власовской армии. Но я к ним касательства в войну не имел.

Судьба хранила меня от крайних безвыходных ситуаций, и мне не пришлось делать выбор на крайне жёстких условиях. Хотя не знаю, доведись мне быть в тупиковом положении, как бы я поступил. Я ведь не мученик идеи, не максималист. В плену у меня были частные беседы с немцами-конвоирами, повоевавшими на Востоке. Они не верили в победу, они боялись фанатизма русских.

– Помнится, в молодые мои годы вы рассказывали об этом часто. Я даже помню, чем они аргументировали свою боязнь.

– Да самым простым: нашей беспощадной ненавистью к своему собственному народу. Один пожилой эльзасец говорил мне, что у русского солдата винтовка да вещмешок с парой грязных подштанников и гранатами. А немцы воевали в две смены, спали на кроватях со свежим бельём, ели трижды в день по расписанию...

Другой – полусумасшедший – сидел на вышке на Дону почти месяц. Пулемёт его пристрелян был абсолютно по ориентирам безлесной степи. И вот весь месяц по утрам раздавалось «ура», и сотни русских без погон и поясов шли в атаку. Он стрелял методично и равномерно, пока не умолкали крики. Он положил горы трупов, которые разлагались на жаре со страшным запахом. И всё это безумство длилось день за днём, пока его, повредившегося в разуме, не сменили запасные части.

«Такую страну самоубийц победить невозможно», – говорил он мне. И я знал это, я знал историю державы и как художник, и как её мыслящий индивид. Поэтому было бы безумием с моей стороны пытаться стать перевёртышем в этой битве двух тираний – лучшее, на что я рассчитывал, – остаться вообще в стороне...

– Но формула «кто не с нами, тот против нас» автоматически зачисляла вас в противники...

– Я это понимал и смирился с мыслью о возмездии. Раскаяния я не испытывал ни тогда, ни сейчас. Я никого не лишил жизни, никому не принёс вреда – разве это не редкая удача в наш страшный век. Совесть моя чиста, тем более что вслед за арестом и серией доносов мне определили срок высылки и принудительных работ, которые я сполна отбыл от звонка до звонка. Бесчестья я не заслуживал...

– Леонидыч, я хотел бы закончить беседу о военном лихолетье вашей любимой цитатой из того же Николая Бердяева: «В русской национальной стихии есть какая-то вечная опасность быть в плену, быть покорной тому, что вне её. Но истинным возрождением России может быть лишь радикальное освобождение от всякого плена, от всякой подавленности и порабощённости внешнему, внеположительному, инородному...» Вы прошли сполна этот русский крестный путь. Не прав ли был Николай Александрович из своего эмигрантского далёка? Не лучше ли было для вас лично надолго спастись в эмиграции от страшной русской жизни? Так поступали в вашем положении многие интеллектуалы, совершая своё «радикальное освобождение»...

– Я могу вам привести благословение епископа, напутствовавшего меня: «Не возвращайся в монастырь после лагеря. Ты – художник, вот тебе послушание: всё, что будешь делать в искусстве, – это смягчать сердца. Они окаменели. Сочувствие – первый шаг к потеплению...». Так я прошёл всю свою жизнь после войны – следуя заветам своего настоятеля...

Так завершился, помнится, тогда наш разговор, один из самых откровенных и напряжённых. Было это в середине 70-х, во время семидесятилетия Оболенского, отмеченного в тесном кружке близкой ему по духу молодёжи в Миассе. Этот кружок составил тогда сам собой из людей поколения шестидесятников, уже немало разочарованных в ожидании реальных перемен, и тогда нам казалось, что только один Оболенский – по стариковской упрямости своей – продолжает оставаться оптимистом в отношении нашего будущего.

Но вот прошло ещё полтора десятка лет – и теперь я начинаю сомневаться: не так ли уж был не прав мой многомудрый собеседник...

Впрочем, ему в отличие от нас пришлось пройти ещё одну, самую трагедийную пору своей судьбы: он был сослан на Север, на строительство дороги Салехард – Игарка. Шёл сорок седьмой год; ему же исполнилось сорок пять...

ССЫЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Литература, посвящённая годам репрессий и ссылок, сегодня необозрима. Шквалом она обрушилась на наш город, вскрывая ложь и фарисейство былых толкователей истории. Рухнули казённые постулаты, на которых воспитывались поколения верноподданных граждан.

Но каждая судьба уникальна, неповторима, несёт свои уроки и тонкие оттенки. Выживший в невыносимых условиях несёт свою частицу правды, выстраданной им лично. Оболенский много рассказывал мне о своей судьбе в лагере, причём за три десятилетия в его новеллах были и безысходные, были и светлые, порой комические ситуации. Сегодня многое переболело, отлегло от сердца, тон его стал светлее и оптимистичнее. Он успел немало потрудиться после выхода из заключения, хотя так и не дождался официальной реабилитации, снятия наветов и обвинений. Возможно, приводимые ниже беглые абрисы его злоключений покажутся в чём-то тривиальными, но это правда, не прикрашенная и не утрированная.

– В лагерной жизни самое страшное – начать рыться в объедках. «Доходягами» делались те, кто не выполнял нормы и получал уменьшенный паёк. Это была система чудовищная, людей обессиленных не стреляли, не истязали. Их просто садили на железный лист и трактором увозили в тундру – всё завершали песцы. Ни косточки не оставалось от трупов, поэтому мне смешно, когда на нашей стройке потом пытались найти захоронения или говорили, что под каждой шпалой – скелет трудармейца. Ничего подобного на трассе Салехард – Игарка не найти.

Но мне повезло – в самый трудный начальный период норму помогал мне выработать молодой вор из Киева. Парень попал за проволоку уже после прихода наших частей: воровать он был вынужден для того, чтобы есть. А так человек был неплохой, не испорченный и сострадал мне, полгода «мантулил» за двоих. Это спасло меня, пока я не приспособился к обстановке, не сумел найти себе место... А ведь нам повезло больше, чем другим, – у нас был толковый начальник 501-го строительства. Полковник Барабанов понимал, что провести через тундру в кратчайшие сроки железную дорогу – пусть и однопутку – требует невероятной бережливости, а вовсе не истребления людей. Он на утренней поверке часто говорил: «Все мы – вольно или невольно – строим подъездные пути к коммунизму. У всех у нас одна цель: дойти живыми до Игарки. Я сделаю всё, чтобы вы вышли на Обь, а ваш долг – выполнять мои приказы. Во что бы то ни стало, но выполнять...»

И он делал невозможное – нас сносно кормили, давали японскую зимнюю трофейную одежду, вплоть до шерстяных капюшонов, прикрывавших лицо от морозов.

Он подбирал начальников отрядов не ради жестокости, а ради знания путейского дела. Сатрапов у нас не было. Хотя люди, конечно, и недоедали, и умирали, но дорога продвигалась. Барабанов принял смелое решение – не рыть выемок под котлован-основание, а сберегать вечную мерзлоту. Мы рубили кустарник и укладывали лежни из него, не давая

летом грунту оттаять. Шпалы клали сверху, а рельсы крепили не чем-нибудь, а паровой ударной машиной с молотом. Темп был высочайшим, и когда мы пришли в Игарку, мы, ей-богу, выглядели победителями.

Парадоксальность моей судьбы в том, что везде и неизменно мне чертовски везло: уже через пару лет я очутился в Минусинске, где стал работать по своей специальности: Барабанов создал театр, где собрались прекрасные актёры. Там был и знаменитый впоследствии Георгий Жжёнов, и многие другие выдающиеся, заметённые суровым временем деятели искусства. Мы ставили буффонады, водевили, простенькие вещицы из старорусской классики. И снова я был в своей стихии – и делал декорации, и ставил свет, и играл. Двадцатые годы в какой-то иронической ипостаси повторились – мы были свободны от идеологического пресса, нам давали полную свободу выдумки, не стесняли в выборе репертуара. Я, представьте себе, был счастлив.

Именно тогда мне удалось послать весточку своему дорогому Мастеру. Сергей Михайлович был ещё жив, он верил в меня и очень тепло ответил. Он советовал мне после освобождения не возвращаться в традиционное кино, а рискнуть экспериментировать в совершенно новой, дотоле не известной нам сфере – в сфере телевидения. Оно только-только делало первые шаги, у него были свои особенные изобразительные средства. Эйзенштейн всегда был подвижником, всегда смело шёл на эксперимент. И вот старый мастер благословил меня вновь на дерзание.

Знаменательно, но именно в эти дни надежды и новых горизонтов меня посетил в Минусинске будущий народный художник страны Илья Глазунов. В книге своих воспоминаний он пишет обо мне, как о последнем российском князе, встреченном в своих путешествиях по Сибири. Конечно, он преувеличивал, но в общем эта встреча была для меня свидетельством, что новое поколение – поколение детей войны – выходит на историческую сцену. Он был молод, чертовски талантлив и эрудирован, жадно вдумывался в русскую историю и искусство. Конечно, это ободрило меня, наполнило стремлением не замыкаться в своих обидах, а начинать новую жизнь с ясной открытой душой.

Прошёл знаменитый XX съезд, потрясший нас. Кое-кто, правда, считал его новой демагогией и полуобманом народа, но я был искренне восхищён смелостью Хрущёва! Мне нечего было скрывать, а честолюбия моего хватало лишь на то, чтобы иметь крышу над головой, кусок хлеба и, по возможности, интересное, пусть любое, в любой сфере, но творческое дело. Мне разрешили ехать в Свердловск, на студию кино, где, кстати, был один из первых в восточных районах телевизионный центр. Там я и продолжил свой извилистый путь экспериментатора.

– Леонидыч, ей-богу, вслушиваясь в ваши приключения, приходишь поневоле к мысли – вы родились в рубашке. Каждый крутой поворот в вашей судьбе даёт вам новых друзей, открывает какие-то потайные силы милосердия, скрытые в людях. Вам помогают буквально все, даже ссылка и каторга приносят вам не уныние, а оптимизм. Что это – господне благословение на вас или вы в сговоре с дьяволом-искусителем?..

– Не знаю. Как говорится в Писании – пути господи неисповедимы. Надо быть смиренным душой, ибо там же, в Писании, есть и другая фраза: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное...». Когда я пытался сопоставить Евангелия на разных языках, то открыл для себя неожиданное. Переводили нам с древнегреческого писания болгары Кирилл и Мефодий. Слова «нищие духом» – упрощённое толкование. Буквально же значит «кроткие, незлобивые духом». Вот в таком понимании я и вижу причину моего везения – я оставался всегда незлобленным, принимал всё, как есть, в моей судьбе. Скажу больше – даже то, что меня в трудные дни поддерживала простая сельская вдова в Сибири, ставшая мне спутницей надолго, – тоже промысел божий; и я нёс свой крест, как мог...

ЭПОХА ЗАСТОЯ

Я встретил Оболенского в 60-х годах, когда он переехал в Челябинск. Именно тогда надежды на обновление ещё не сменились последующим чувством безысходности и равнодушия. Наоборот – с нарастанием шёл духовный подъём. Оболенский сразу был окружён множеством молодых людей, из которых вышли и уехали в столицы десятки талантливых кинодеятелей, операторов телевидения, режиссёров театров, писателей и поэтов. Без преувеличения, роль его в нашем крае была подобна катализатору, действовавшему в одиночку вопреки консерваторам, всей трусливо-провинциальной администрации.

Неудивительно, что при малейшей возможности они с чувством облегчения просто изгнали его из города, организовав гнуснейшие инсинуации в виде доносов в его адрес. Не время и не место дотошно препарировать эту историю, скрытую и ползучую, когда ненависть окружала почти беспомощного старика при полном молчании сочувствующей втайне интеллигенции. Город ещё раз подтвердил хрупкость своих демократических убеждений, согласившись без протеста с отъездом Оболенского в милостиво принявший его Миасс, где он и продолжал жить и работать вплоть до смерти. Челябинская страница осталась одной лишь из многих в его судьбе, но для меня она, как ключевая в годы взросления, по-прежнему дорога и неповторима. Поэтому я не могу не рассказать подробнее о том ярком времени.

Помнится, в начале 60-х на телевидении Челябинска начали снимать самостоятельные ленты. Ходили слухи, что делает это какой-то гениальный ученик Эйзенштейна, чудом оказавшийся в нашем городе. Тогда в Челябинск приезжали многие бывшие репрессированные – появлялись какие-то мастера эстрады из Харбина, генетики из зарубежных лабораторий, поэты из магаданских и колымских лагерей. Всё бурлило и клокотало, шли поэтические дебаты в кафе, телевидение напрямую в эфир давало Клуб весёлых и находчивых с солёными шутками и парадоксами. Длилось это недолго, и потому запомнилось навсегда.

Вот тогда мы и увидели телефильм «Крылатый мастер», снятый Оболенским как бы в манере «Ивана Грозного», с историческим подробным колоритом, с гордостью за уральскую

историю, его людей и таланты. Лента возбудила нашу провинциальную самосознательность сразу, и, как водится в глубинке, преувеличенно. Ещё были совнархозы, ещё что-то грезились южноуральцам из своего доблестного военного времени, когда город был центром многих министерств и оборонных ведомств. Словом, мы юные студенты и любители своего края – воспрянули не на шутку. Поговаривали о новом театре, о собственной киностудии, издательстве.

Именно в эти месяцы меня познакомили с Леонидычем (за что я благодарен его верному другу и единомышленнику Василию Васильевичу Павлову – выпускнику МГУ, блестящему знатоку классической литературы и постоянному сотруднику телевидения). Последовала целая серия вечерних бесед, необыкновенных по своей изящности, взаимной учтивости и сердечности. Великий образ Эйзенштейна, царивший в этой квартире, постоянно звучавшие французские передачи, которые слушал Оболенский, громадная эрудиция в сочетании с любезностью, даже грациозностью, покорили меня навсегда. Не знавший отца, погибшего на фронте, лишённый гуманитарной школы умствований, я, как к животворящему источнику Иппокрены, прильнул к Оболенскому, дав себе клятву не расставаться с ним никогда.

Судьба подарила мне и совместную, – увы, краткую, работу с ним. Это был наш великий Лермонтов, круглую дату гибели которого мы решили отметить поэтическим спектаклем. Группа молодых единомышленников наших (а сколько было тогда энтузиастов по всей стране, но не всем так везло, как нам!) как бы заново открыла с помощью Оболенского само искусство чтения стиха, заболтанного нами на кургузых литературных уроках в школе.

Оболенский терпеливо и мягко вводил нас в мир сумрачного Гения в мундире поручика, показывал его пророчества, поразительные по глубине и лаконичности. Мы впервые ощутили, что эта личность – наше собственное, а не извне данное достояние. Совпадение возраста только подчёркивало, к счастью, не нашу убогость, а – наоборот – доступность именно в молодости задумываться над великим и коренным. Мы были, в основном, технократами, послушно плывшими по течению общественных воззрений. Лермонтов, воскрешённый Оболенским в деталях быта, армейского уклада, извечно консервативного окружения, давал нам свой, пусть невеликий, но простор воображению.

Спектакль прошёл с оглушительным успехом, нас благодарили, особенно – за единство музыки, оформления и гармонично звучавшего слова. К сожалению, Леонидыч дальше был отвлечён новыми съёмками, и мы работали уже с другим, тоже самобытным и темпераментным режиссёром – Ароном Кербелем; группа наша ещё почти десятилетие жила литературным театром, воскрешая имена великой классики. Надежда Высоковская – безвременно умершая актриса, Борис Морозов – впоследствии крупный советский режиссёр московских театров, Артём Соколов – прекрасный пианист и талантливый инженер-металлоконструктор, Александр Эшке – педагог-физик, уехавший на Украину, Алексей Бершадский – самобытный поэт, инженер-прокатчик, ныне живущий в Израиле...

Да разве перечислишь всех, пленённых обаянием Оболенского, потрясённых его даром находить единомышленников и пробуждать не востребуемые силы души молодёжи.

С высоты нынешних пятидесяти мне легче понять тягу к нам – молодым. Сейчас я почти приближаюсь к его тогдашнему возрасту и – по счастью – остаюсь для него таким же юношей, каким он встретился мне. Надо так стремительно проживать творческие зрелые годы, чтобы было потом чем делиться с новым поколением. Оболенский делал это блистательно и остроумно, чему, впрочем, не изменил ни на йоту до конца дней своих. Он тогда разделял эйфорию всех современников, считавших, что началось время истинного Возрождения Отечества на демократических началах. Он поверил в искренность партийных вождей и открывался юности с неподдельной страстью и откровением. А это было нежелательно начётчикам от власти, и медленно, но верно они сжимали кольцо отчуждения вокруг него...

Постепенно заглохли поэтические кружки и споры. Публика с образованием и чутьём к переменам предпочитала более нейтральные, не столь эпатирующие личности в качестве властителей дум. Кого-то эксцентричный старик – кумир молодёжи – даже раздражал, ибо суть дерзких авангардистских приёмов была неистребима в его поведении и творчестве. Одна, другая, третья жалоба шли в инстанции, определявшие, как и кому следует творить. Тоталитарное государство переваривало непохожих медлительно, но со знанием процесса. Уходили в науку дерзновенные, покидали город неконформисты – и вот уже в семидесятых Оболенский исчез из города, и я потерял его след...

Я несколько лет учился в столице, защищал диссертацию, а когда вернулся на преподавательскую должность во вузе, с отчаянием обнаружил, что моего кумира нет, и никто толком не знает, куда он исчез. Только неизменный друг Оболенского В.В. Павлов поведал мне в деталях отвратительную историю травли Леонидыча, из-за которой он был вынужден уехать. Проведя с полгода в Москве, он очутился в Миассе, где ему дали квартиру и работу по кинолюбительскому клубу, и вокруг него – снова неизменная молодёжь, полная любви и обожания своего мастера.

И вот я снова встретил через десять лет Оболенского чуть более поседелого, но абсолютно не изменившего своим взглядам. Больше того, его нашли новые столичные режиссёры кино, стали приглашать на съёмки.

Конец семидесятых можно без преувеличения назвать вторым рождением Оболенского как типажного, неповторимого киноактёра. К сожалению, я не знаю всех ролей, сыгранных им за эти годы. Массовый зритель пленён им в таких знаменитых лентах, как «Красное и чёрное» (реж. Герасимов), «Подросток» (телефильм), «Ярослав Мудрый», «Чисто английское убийство», а фильм свердловчан «Поздняя осень» с его главной ролью получил целую серию международных призов, в том числе «Золотую богиню», канувшую где-то в сейфах Минкультуры. Кроме того, Оболенский снимался во множестве прибалтийских лент, где играл безукоризненно тактично роли то почтенных владык, то глав родовых крестьянских кланов, то скептических дворян-эмигрантов. Прибалты, особенно литовцы, настолько считали

его своим, весьма пострадавшим в годы культа борцом за свободу, что дали ему в печати даже несколько видоизменённую фамилию – Оболенскис; они неизменно приветствовали его на улицах поднятыми вверх двумя пальцами, растопыренными по начальной букве слова «виктория» – победа.

Оболенский каждую свою роль наполнял такой непонятной для вечно спешащих актёров глубиной, что они не раз предупреждали его от излишней перегрузки, недопустимой в его возрасте. После съёмок он любил иронизировать: «По четыре роли в сезон может сыграть только актёр, просидевший в концлагере хоть пару лет. Такие у нас Георгий Жжёнов и я. Только тогда поймёшь истину в поговорке «На севере мясо не гниет».

Уже после его смерти напишут в многомиллионных некрологах: «Другого такого Лица, такой стати, такой породы в нашем кино не было – поистине «кровь – великая вещь» («Известия», 22.11.1991).

Я не кинокритик и далеко не беспристрастный ценитель его творчества. Мне безумно жаль, что негде моим землякам – хотя бы в знак покаяния и уважения к трудовому подвигу своего земляка – посмотреть ретроспективу ролей Оболенского. Такой киновернисаж мог бы, по моему глубокому убеждению, потрясти зрителей, ибо достоин преклонения всякий талант, но такой – неудержимо деятельный и результативный – поучителен вдесятеро, во сто крат, ибо длится он многие-многие десятилетия, не увядая и только возрастая в масштабах содеянного.

Но цинизм пренебрежения к человеку в нашем отечестве не имеет пределов, а в провинции – тем более. Потому я и взялся за эти скромные записи, чтобы хотя бы в единой хронологии слова могли бы остаться горечь и озарение прекрасного служителя и верного ученика великого Искусства Кино.

ЛИЧНОСТЬ И БЫТ

Наше время – те отпущенные нам Провидением скоротечные десятилетия земного пребывания – всегда переходно. От одной исторической формации к другой движется цивилизация, движется страна. Движется политическое устройство, меняются экология и строение духа нации.

Но эволюция Личности не менее интересна, чем идеологическая и политическая. Мой герой, как я уже говорил, уникален и неповторим по сцеплению его судьбы, возносившей его вверх и затем безжалостно швырявшей на дно общественного устройства. В нём – в благовоспитанном патриоте и гимназически образованном юноше – постепенно образовалось то ядро Личности, сильной характером, которая смогла достойно перенести все тяготы, которые не по силам многим. Сегодня, когда круто ломается уже биография целого народа, когда, тревожимый безверием и разочарованием, весь народ наш, доселе самоуверенный и высокомерный в своем праве поучать других, стоит в растерянности и потрясении, нам для

самих себя, для своей «самости» целительно пристальное вглядывание в те личности, которых мы ранее отвергали, которым мы не внимали или рассеянно разглядывали их, как фигляров или шутов.

Оболенский – шут, скоморох, площадный гаер нашей эпохи. И пусть облик его – самоуверенного сноба в цилиндре или мудрого князя Сокольского из «Подростка» останется бессмертным в нашем искусстве – всё-таки как Личность, как Цельная Фигура он останется потаённым, не коснись его дотошное, любящее перо летописца и исследователя нравов, к каковым относятся люди, дерзнувшие объявить себя литераторами или просто свидетелями, способными к письменной работе. Не способен к такой летописи историк искусства, в луче внимания которого в лучшем случае кинобиография нашего героя, эволюция образов, в общем-то случайных по выбору предлагаемых ролей. Трудно здесь придется и традиционным беллетристам, которых сейчас уже нашлось немало, привлекаемых вспыхнувшей славой наконец-то признанного «Народного артиста», непонятно каким образом уцелевшего после всех коллизий и дожившего до библейского возраста где-то в замшелой провинции.

Как удивится любой из них, алчно возжаждавший скомпоновать себе доходный «опус» на воспоминаниях старца, когда, добравшись до глубинки, доехав до «хрущёвки» Оболенского, он будет потрясён скудостью-монашеской нищетой быта этого человека, беспечно распевającego по утрам французские шансоны, перебирающего разрозненные пожелтевшие листочки выписок из любимых книг, прочитанных много лет назад, и стремительно уходящего в разговор от любой ему навязанной темы. Нет, Оболенскому некогда говорить о своей биографии, некогда вспоминать – что и когда было – последовательно и размеренно. Его мысль подобно фейерверку то вспыхивает, озарённая догадкой, то ставит вас в тупик необходимостью одновременных знаний в области зодчества, античной литературы, теории психоанализа и катарсиса по Достоевскому.

Сколько раз я наблюдал ошеломлённое оцепенение приезжих собеседников, оглушённых энергией старца, прикованного уже несколько лет к креслу (у него была сломана нога, и он потерял возможность передвигаться в конце 80-х). Энергию Духа, оказывается, не под силу вынести рядовому обывателю, равно как и случайному посетителю.

Вот приехавшие экстрасенсы пытаются перевести Оболенского в разряд своих единомышленников, а он целый вечер потешает их байками о провидческом даре... своей полусумасшедшей Аннушки, бывшей своей спутницы по Сибири, обладавшей знаниями и даром знахарки, но так и спившейся от подозрений после стольких лет жизни среди актёров, окружавших автора сей трагикомической истории.

Вот холёный искусствовед мелочно пытается записать актёрские роли и фильмы, в которых изволил появиться Леонидыч, а он блистает... анекдотами из потаённой жизни то Барнета, то Пудовкина, то своей первой жены Судейкиной, от чего приезжий деятель окончательно запутывается, махнув рукой на болтовню и решив по справочникам и монографиям уловить реальный ход жизни этого непонятного ветерана-краснобая.

Всех поражает полное отсутствие архивов у Оболенского. Никто не верит, что он не вёл записок, ибо каждая его история ошеломляюще красочна, картинна и вполне может стать новеллой, одной из тысяч, которые хранятся в его ничего не забывающей, но ужасно перепутанной памяти.

Поражаются его беспечной, весёлой неприхотливостью питания, легкости переходов от принесённой фруктово-овощной роскоши к ежедневной жидкой на воде каше с сухариками, которые он, ковляя, самолично продолжает готовить по утрам, по-прежнему демонстрируя секрет спартанской жизнестойкости. Удивляются его непрерывной жажде знаний, постоянно вводящей в круг его интересов всё новые и новые пласты фундаментального языкознания и теологии, биофизики и истории, электротехники и оптики.

Ему легко говорить с инженерами, потому что он знает механику и статику, теорию сопротивления и электротехнику. Он запросто беседует с историками, потому что в подлинниках читал древних греков и латинян, русских летописцев и польских романтиков. Любимые его собеседники – краеведы, ибо он поразительно эрудирован в истории Урала, его народных обычаях, промыслах и умельцах. Он снимал документальные фильмы об изобретателях и камнерезах, литейщиках и гравёрах, причём к каждому крохотному фильму он долго готовился, рылся в архивах, встречался со старожилами. Как не быть здесь патриотом-ураломаном, несмотря на стойкую неприязнь к нему регионального начальства и собственных сограждан, уязвлённых его «вызывающим» образом поведения.

Что касается соседей-обывателей, то силу их неприятия старца я наблюдал многократно. Особенно она была продемонстрирована в дни его второй женитьбы на молодой (восемнадцатилетней тогда) девушке, ставшей его спутницей на все последующие годы. Ярость старцев и стариц против такого альянса понятна – в поведении семидесятилетнего знаменитого «чужака» видели вызов, и злые языки трудились без устали только лет пять, да и то – в ожидании следующих гадостных новостей. Но и многие образованные обыватели моложе среднего возраста были шокированы парой, состоявшей из блистательного старца в безукоризненном смокинге с бабочкой и обворожительной юной красотки, появлявшихся во всех общественных местах весьма размеренно живущего трудной полуголодной жизнью провинциального рабочего городка.

История этого союза столь же в духе поступков Леонидыча, как и его бывшие коллизии судьбы.

Из многих сотен людей, приходивших в его дом за знаниями и мыслями, десятки юных существ приходили, влекомые честолюбием, жадной славой, протекции в искусстве. Были среди них наивные и способные, терпеливые и взрывные. Кто-то поговорил и исчез без следа, кто-то получил желанную записку к сильным мира искусства (ведь многие режиссёры – ученики Оболенского ещё по ВГИКу), а кто-то просто погрелся в лучах его тепла и внимания...

Но сколько сил требовалось, чтобы защитить себя и свой дом от обывательских сплетен... В последнем ко мне письме Оболенский писал: «В маленьком домике в старой части города Миасса живёт Ирина мама (тёща), которая помогает нам своим огородом, прикармливает нас и не поливает ни её, ни меня супермещанской грязью... Ирина не только сделала хорошую дипломную (рекомендованную к публикации) работу, но и спектакль по книге «Гарсиа Лорка и его народный театр». Сделала она это самостоятельно и с блеском. Теперь у неё два диплома – библиографа и режиссёра. Она – мой верный и единственный друг последних дней моих, со всеми тяготами, очередями, работой и моими жуткими припадками в дни магнитных бурь...».

Смерть нашла Оболенского именно в такой день – 19 ноября 1991 года. А незадолго до этого он ещё сидел в своём кресле и штудировал разночтения в переводах Евангелия: «Вначале было Слово...». Неверно, в буквальном переводе должно стоять: «Вначале был Логос!». Тогда идёт совсем другой смысл. В начале мира был Закон, Логическая стройность. И далее понятно: «...и Логос был у Бога, и Логос был Бог». Не так ли понимал это старик Державин, написавший оду «Бог», которой завидовал всю жизнь Пушкин? Такого произведения и он не сумел бы создать. Чего-чего, а Державин великолепно знал подлинные тексты Евангелия, не искорёженные грубыми переводами с древнеболгарского на древнеславянский», – рассуждал он, медлительно прокручивая зёрна в кофемолке...

За окном – роскошные горы Южного Урала. Щебетание птиц. Старик сидит в продавленном кресле, устремляя взор туда, за горизонт плавных очертаний родной ему местности. Ставшей родной. Хотя бы потому, что ему есть с кем поделиться в девять десятков лет... «А вы говорите – потрясение, катаклизмы, исторический переворот. Имейте мужество встречать это как неизбежное, называемое сотворчеством. Мы все творим свою жизнь сами...».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первом томе Эйзенштейна сказано о судьбе Оболенского в одном стремительном абзаце: «Я никак не мог одолеть чечётки. Я долбил её добросовестно и безнадёжно под руководством несравненного и очаровательного Леонида Леонидыча Оболенского, тогда ещё танцора-эстрадника и ещё не кинорежиссёра пресловутых «Кирпичиков» и «чего-то» с Анкой Стерн, ещё не ассистента моих курсов во ВГИКе (начиная с ГТК в 1928 году) и никогда не предполагавшего стать... монахом в Румынии, куда его занесло вслед за побегом из немецкого концлагеря, после того как в 1941 году он сорвался с грузовика, стараясь заскочить в него при отступлении наших весной из-под Смоленска...».

Мы прощаемся с «несравненным и очаровательным» нашим современником, последним князем нашей духовной интеллигенции, носителем заветов жизнестойкости достоинства Человека во всех превратностях судьбы. Прах его отныне и навсегда нашёл успокоение на Южном Урале, а душа будет говорить с потомками многие-многие десятилетия. И чем круче

будут повороты судьбы нации, тем ценнее этот уникальный путь, соединяющий нас с древними евангельскими притчами, с древнерусской самобытностью, с напряжёнными поисками гуманистической правды на этой трудной земле... Ибо сказано в Писании: «Не останется бессильным никакое Слово...». Так было и будет, пока мы живём, слышим Вещее...

Стараниями энтузиастов, среди которых был и автор этих строк, в Челябинске создана музей-квартира Оболенского, а сам он был реабилитирован спустя полтора десятилетия после смерти. В 2005 году. Ему посвящён кинофестиваль «Новое кино России».

Слава его ещё впереди...

1992–2006 гг.